

САДОК СУДЕЙ

<i>Василій Каменскій</i>	<i>стр. 1 — 25</i>
<i>Е. Низен</i>	<i>„ 26 — 39</i>
<i>Н. Бурлюк</i>	<i>„ 40 — 56</i>
<i>Е. Гуро</i>	<i>„ 57 — 74</i>
<i>С. Мясоедов</i>	<i>„ 75 — 83</i>
<i>Д. Бурлюк</i>	<i>„ 84 — 94</i>
<i>В. Хлебников</i>	<i>„ 95 — 133</i>



9 рисунков fecit Владимирa Бурлюка.

Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы—
О, не жалея недовиденнаго сна—
И вытащат взглянуть
На розовое солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! легко.

*Каменский
Василь.*

*Жить
чудесно.*

Op. 1.

Туманом розовым
Вздохни. Еще вздохни,
Взгляни на кроткія слезинки
Детей—цветов.
Ты—эти слезы назови:
Росинки-радостинки!
И улыбнись им ясным
Утренним приветом.
Радуйся! оне для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
В жаркій полдень
Тебя позовут гостить
Лесныя тени.
На добрыя, протянутыя
Чернолапы садись, и обними
Шершавый ствол, как мать.
Пить захочешь —
Тут журчеек чурлит —
Ты только наклонись.
Радуйся! Он для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
Вечерняя тихая ласка,
Как любимая сказка,
Усадит тебя на крутой бережок.

Посмотри, как дружок
За дружочком отразились
Грусточки в воде.
И кивают. Кому?
Может быть, бороде,
Что трясется в зеленой воде.
Тихо-грустно. Только шепчут
Нежные тайны свои
Шелесточки-листочки.
Жить чудесно! Подумай:
Теплая ночь развернет
Пред тобой синетемную глубь
И зажжет в этой глуби
Семицветные звезды.
Ты долго смотри на них.
Долго смотри.
Оне поднимут к себе,
Как подружку звезду, —
Твою вольную душу.
Оне принесут тебе
Желанный сон — о возлюбленной.
И споют звездным хором:
Радуйся! Жизнь для тебя.

Звени Солнце! Копья светлая мечи,
Лей на землю жизнедатные лучи.
Звени знойный, краснощекий,
Ясный - ясный день!

Звенидень!

Звенидень!

Пойте птицы! Пойте люди! Пой земля!
Побегу я на веселые поля.

Звени знойный, черноземный,
Полный - полный день!

Звенидень!

Звенидень!

Сердце радуйся и пояс развяжись!
Эй, душа моя, пошире распахнись.

Звени знойный, кумачевый,
Яркий - яркий день!

Звенидень!

Звенидень!

Звени Солнце! Жизнь у каждого одна!
Я хочу напиться счастья до - пьяна!

Звени знойный, разудалый,
Пьяный, долгий день!

Звенидень!

Звенидень!

Звенидень.

Op. 2.

*(Секретарю
Айкю).*

Полдень.

Ор. 3.

В знойный полдень
Голубые колокольчики
В небе разливаются.
Стройный замер лес.
Ягодницы - девушки
В кустах перекликаются.
Белокрылые ангелы
Смотрятся с небес.
Белокрылые ангелы
На белых парусах
В бирюзовом озере
Катаются.
Струйкой поделушной
Струится ветерок.
Над бирюзовым озером
Зеленые грусточки
Истомно качаются.
С цветочка на цветок
Взлетает бабочка:
Разласкивает ласки...
Эти ласки - сказки никогда
Не кончаются...

Развеснилась весна!
Распахнулись ворота весення,
Голубья, высокія - высокія, —
Неба выше!
А солнце то! Солнце светит
Жаркой, первой любовью.
Голубятся голуби на крыше.
Целуются. Топчутся.
Аг - гурль... аг - гурль...
Согретые голуби. Счастливые.
Вот хорошо!
Эх, побегу я сейчас
За тем — вон — беленьким платочком
К пушистым ивам.
Я тоже буду счастливымъ.
Я тоже буду голубочком.
Буду жарко миловать,
Как это солнышко!
Буду громко распевать:
Аг - гурль!.. аг - гурль!..

Звенит и смеется,
Солнится, весело льется

Развесни-
лась весна.

Op. 4.

(В. Хлебни-
кову).

Чурлю -
Журль.
Op. 5.

Дикій лесной журчеек —
Своевольный мальчишка —
Чурлю - Журль.
Звенит и смеется,
И эхо живое несется
Далеко в зеленой тиши
Корнистой глуши:
Чурлю - Журль...
Чурлю - Журль...
Звенит и смеется:
„Отчего же никто не проснется
И не побежит со мной
Далеко, далеко... Вот далеко!
Чурлю - Журль...
Чурлю - Журль...
Звенит и смеется.
Песню несет свою. Льется.
И не видит: лесная Белинка
Низко нагнулась над ним...
И не слышит: лесная цветинка
Песню отцветную поет и зовет...
Все зовет еще:
„Чурлю - Журль...
А Чурлю - Журль?..“

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
Встань рано — рано,
(Хоть раз - да встань),
Когда тумана
Седая ткань
Редет и розовеет.
Тогда ты встань
И, не умывшись,
Иди умыться
На ростань,
Дойдешь — увидишь—
Там два пути:
Направо — путь обычный;
На нем найти
Ты можешь умывальник
С ключевой водой,
А на суку—
Прямой и гладенькій сучек —
Висит
Холщевый утиральник,
А на бичевке гребешек.
Раз приготовлено, — так мойся,
Утрись и причешишь

Ростань.

Ор. 6.

И Богу помолись.
И будешь человек „приличный“.
И далеко пойдешь всегда,
Когда на правый путь свернешь.
Помни! это ведь — не ерунда.
А вот налево — путь иной.
Налево не найдешь
Ни умывальника, ни утиральника,
Там надо так:
Коли свернул ты на левянку,
Беги во весь свой дух
На росную, цветистую полянку.
Пляши, кружись и падай.
И целуй ее, целуй,
Какъ вѣрную, желанную милянку,
И опять пляши, кружись,
Снова падай.
Чище мойся!
И не бойся:
Солнце вытрет сухо
Мокрое лицо.
Только вытряхни из уха
Муравьиное яйцо.
Только выплюнь

Го подавишься) —
Солючую сенинку,
И душистую травинку,
За здоровье
Ешь!
Хотеть хочешь мудрым?
Летним утром
Встань рано - рано
Хоть раз - да встань),
И не умывшись,
Иди умыться
За ростань.

Как хрустальные голуби,
С белых высоких башен
Желто - звонныя стаи за стаями
На грудь росную пашен
Слетают,
И тают
Зовами синими,
Веснами — маями.

*Сельский
звон.*

Op. 7.



В полдень,
На высокой зеленой горке,
Кверху животом,
Я лежу
И слежу,
Как живет наш
Деревенский дом.
Мои гляделы
Уставились на
Небесные корабли:
Какое им дело
Теперь до земли.
И пусть плавают
На кораблях мечты —
Неземные души —
Там их дороги.
Земное в этот час,
Направив стрелы тонкия,
Стерегут пусть уши.
Чу! Ах...
То близко, то далеко,
То низко, то высоко,
В выси голубой,
Звещающею волной

*На высокой
горке.*

Op. 8.

Невидимки — жавронки
Дрожат, переливаются,
Зовут, перекликаются.
Над солнечной землей
Радостно купаются.

Чу!

Прочернела ворона,
Гнусно прокричала:
К кому?..

Издали корова
Грустно замычала:

Ммму-у...

Медное, тупое

Забренькало гудило;

Должно быть, разбудило

Мальчишку — пастуха:

Укнул сонно: „у-у“...

Внизу разнесся

Детский голос: „а-а“...

Замекали овечки,

Залаяла собака...

Опять тихо...

Прискакали кузнечики —

Застрекотали.

Мимо чела
Прочелила пчела.
Притянулся тоненькій
Жалобный комар;
На руке раздулся,
Как самовар.
Едва, бедный, улетел.
Чу! Что?..
Из лесу вдруг вырвалась
Гулкая девичья песня
И в тоске замерла.
Я глубоко вздохнул.
Отчего? ах, мне
Тоже вспомнилась
Песня одна...
Тише, сердце! Не бойся:
Ведь я петь ее не хочу.
Чу, чу!
Сверещала вещунья
Сорока болтушка.
В дальнем лесу
Скуковала кукушка:
Раз...
Смерть у меня на носу.

Ветерок зашептался,
Затих... Жавронки
Петь перестали.
Когда? Я не заметил.
Что то грустно стало.
Опять песня!
Тише, сердце.
Упали мысли
С небесных кораблей.
Поплыли в лес
За девичьей песней;
В зеленый лес
С голубых небес.
Зажглась слеза.
Закрылись глаза.
Сон заласкался
В лазурном тумане.
Я снова остался
В обмане, в обмане...
Эх, девичья песня,
Отчего я слушать
Тебя не могу...
Тише, сердце! Не бойся.
В далеком лесу

Мне кукушка сгадала:
Раз...
Смерть у меня на носу.
Чу!
Песня...
Я тоже знаю
Одну песню...
О, сердце, не бойся
Я петь ее не хочу.

Все шамкают, шепчутся
Дремучіе старые войны.
Густо сомкнулись.
Высокія зеленія стрелы
В небо направлены.
Точно стариковскія брови,
Седья ветви нависли
И беззубо шепчутся.
По-стариковски глухо
Поскрипывают, кашляют.
И все ворчат, ворчат
На маленьких внучат.
А те, еще совсем подростки,

*Дремучій
лес.*

Op. 9.

Наивно тоже качаются,
Легкодумно болтая
Гоненькими веточками;
Да весело заигрывают
С солнечными ленточками,
Что ласково струятся
Сквозь просветы.
Ах, какое им дело
До того, что строгие деды
По привычке шепчутся,
Да все — беззубые — ворчат,
Какое шалунам дело!
Им бы только с ветерком
Поиграть, покачаться,
Только б с солнечными
Ласковыми ленточками
Понежиться, посмеяться.
А деды зелеными головами
Только покачивают;
Седыми глазами
Смотрят на шулунов внучат.
И все ворчат. Ворчат.

На речушке - извивушке,
На досчатом плотике,
Под зелеными грусточками,
Схоронившись от жары,
Я лежу.
И прислонившись
Носом к самой воде,
Я гляжу
На зеленое дно
И мне все ясно видно.
Вот из под плотика
Выплыли две остроглазья
Рыбки и,
Сверкнув серебром, убежали.
Из под камешка
Вдруг выскочили пузырьки,
Бусами поднялись на верх
И полопались. Кто то
Прошмыгнул в осоку
И оставил мутный след.
Где то булькнуло.
И под плотик пронеслась
Стая серебряных стрелок.
Успокоилось.

*Серебряные
стрелки.*

Ор. 10.

Рука теченія снова
Спокойно стала гладить
Зеленые волосы дна.
На солнечном просвете
Что то (мне не видно что)
Беленькое, крошечное
Заиграло радужными лучами,
Как вечерняя звездочка.
У! из под плотика выплыли
Целыя тучи рыбешек.
И потянулись вперед,
Разсыпались, зашалили,
Точно только что выпущенные
Школьники из школы.
Ужо подождите учителя —
Стараго окуня,
Или учительшу —
Щуку —
Они вам зададут.
Ого! Все разбежались.
Кто куда? Неизвестно.
Потом все - откуда? —
Снова столпились.
И побежали дальше.

Над головой веретешко
Пролетело, за ним кулик.
Ветерок подул.
Закачались кроткие
Зеленые грусточки
Над речушкой - извивушкой.
Хлюпнула вода под плотиком.
Стрельнула серебряная
Быстрая стрелка
И запуталась в шелковых
Ленточках осоки.
Ну, вот... Ах ты... Вот
Напугала, дикая:
Чуть не в нос стрельнула
Шальная стрелка.
Я даже отскочил.
Впрочем, — кто знает? —
Она, может быть,
Хотела меня поцеловать.
Ведь вот какая!

Перед балконом в мусоре
Заалело от бутылки донце,
Отразившись стрелами
В розовом оконце:
Потянулось спать
Вялое солнце
За колючий лес,
За дымные горы.
Тише. Покуда
Не бренчите посудой:
Телеграфист в ударе —
Поет „разлуку“,
Держа важно руку,
Подыгрывает на бандуре.
Грустно. Вдруг,
Как бес,
Пробежала шальная собака
Мимо.
В ухо залез
Пискляк - кусака.
Замотался.
Где то за реченкой
Утка проскрипела
Кря - кря...

*Вечером
на даче.*

Op. 11.

Нищая - девочка подошла
С протянутой ручонкой —
Запела :

„Родной мой отец
Сгорел от вина.
Мать на столе холодна.
Я сирота голодна“...
Нежный телеграфист
Неловко смолк:
Может быть, оттого,
Что две слезы неожиданно
На бандуру скатились...
Унесли чайную посуду.
Хлопнули стеклянными дверями.
Лампу зажгли.
Серья занавески
Тихо опустились.
Я не буду сегодня больше
Сидеть на балконе
И не пойду гулять.
Нет, не пойду.
Как красный уголь,
Затлело в мусоре
От бутылки донце :

Утянулось спать
Вялое солнце
За колючий лес,
За дымные горы.

Затянулось небо парусиной.
Сеет долгий дождик.
Пахнет мокрой псиной.
Нудно. Ох, как одиноко-нудно.
Серо, бесконечно серо.
Чав - чав... чав - чав...
Чав - чав... чав - чав...
Чавкают часы.
Я сижу давно-всегда одна
У привычного истертого окна.
На другом окошке дремлет,
Одинокая, как я,
Сука старая моя.
Сука — „Скука“.
Так всю жизнь мы просидели
У привычных окон.
Все чего то ждали, ждали.
Не дождались. Постарели.

*Скука девы
старой.*

Op. 12.

Так всю жизнь мы просмотрели:
Каждый день шел дождик...
Так же нудно, нудно, нудно.
Чавкали часы.
Вот и завтра это небо
Затянется парусиной.
И опять запахнет старой
Мокрой псиной.

Там с утра до вечера привязанныя *Е. Низен.*
на веревочках резвились маленькія соп- *Детскій*
ливья существа. Не то это были рабы, *рай.*
взятыя в плен, не то необходимыя и не- *Ор. 1.*
нужныя принадлежности песчаной пло-
щадки.

И неизвестно было, зачем собственно
понадобилось этим жирным и сонным,
одетым в лиловую кисею, держать не-
изменно около себя по несколько штук
этих неприятных, нечистоплотных, виз-
гливых животных.

Маленькій рай был под железнодорожным откосом, темно-зеленым и жирным, у самого полотна. Он весь был покрыт песком и обставлен скамейками для лиловых. Съ одного края была береза, громадная, немного наклонившаяся и грустная. Но собственно здесь она была совершенно ни к чему; впрочем, ее и срубили очень скоро, чтобы расчистить крокет для лиловыхъ.

Приходили и уходили поезда. Много людей толпилось на платформе рядом с песочной площадкой; поднимались по деревянной лестнице и опять спускались. Маленькія животныя на них не смотрели, потому что люди были совершенно одинаковые и очень шумели. На площадке все было одинаковое и все какое-то ненастоящее: песок не пачкал, трава по краям была сухая, не пахла и не шевелилась от воздуха. Только береза была, пожалуй, другая, потому, что с нея всегда падало что-нибудь особенное: зеленые червяки, зеленыя

мягкія подъ пальцами сережки, скрепленные из звездочек, листья, прутики...

За площадкой подальше начиналось, должно-быть, другое царство, — очень интересное. Даже на края уже заползали иногда странные жучки, в бугорках, должно быть, злые, — и между обыкновенной крупной и пыльной травой попадались совсем маленькія, зеленыя звездочки — в ноготь, — мокроватыя, жирныя и про них хотелось что-нибудь рассказывать...

Но уйти подальше было нельзя. Маленьких животных стерегли. С утра они приходили с лопатками и деревянными чашечками и должны были рыть песок до вечера. Если даже они и пробовали уходить, то натягивались незаметныя веревочки и сейчас же становилось безпокойно и скучно, и приходилось возвращаться.

Лиловыя выползали только к двенадцати, еще сонныя и мягкія от жары. А до них тут на площадкѣ были семяч-

ки, толстые, тусклые сапоги, запах сидевых платьев. Это было время наемных, — розовых с белыми передниками и масляными волосами. Эти просто тупо отсиживали свое время и вздыхали, глядя на голубое небо, из котораго нельзя сплести кофты. Но почему-то маленьким животным с ним было уютнее, — больше по себе. При розовых они больше визжали, дрались и пачкались: и глаза у них не много блестели.

Когда приходили лиловыя все смолкало. Оне шуршали, занимали много места и очень сильно пахли. Семячек как-то не было заметно, и играть ни во что настоящее уже было нельзя, — не выходило. Время делалось медленнее.

Потом надо было идти домой есть, хотя есть не хотелось. Лиловыя подымались молча друг за другом и надо было следовать за своими.

Кто-нибудь, пользуясь наступившим наконец движением, забегал на минуту в овражек, где был мокрый песок, голо-

вастики и черные кусочки дерева. Все это было захватывающе... Т. е. до чего это было удивительно... но его лиловая уже удалялась, непреложная и непререкаемая, как обед... Веребочка нятягивалась и он бросался догонять.

На короткое время площадка была почти пустая. Приходили и уходили поезда. Песок был горячий и пахло летом. Но потом опять все возвращались, в двойном количестве, окрепшия к вечеру, говорливыя и смешливыя. И выходило как-то так, что не оставалось ни травы, ни настоящего песка, ни деревьев.

Лиловыя были главными и занимали всю площадку, хотя сидели очень аккуратно и неподвижно на скамейках. Главными были оне,—и все-таки их всегда немного беспокоили непонятныя грязноватыя животныя, которых оне завели за чем-то, которыя все куда-то совали пальцы и втыкали прутья в дырочки сапог. Главное, что от них всего можно было ждать, что они были непонятныя,

притаившіяся и всегда немного враждебныя: все что-то высматривали и соображали. А хуже всего было то, (так говорили между собой лиловыя), что на этих шло ужасно много денег и не хватало на шляпы и кисею.

С приходом лиловых часть маленьких животных поднималась на заднія ноги и терлась около их зонтиков и редикюлей, задавая одиakoво глупые вопросы. Это были те, которыя уже подросли, переходя постепенно в разряд лиловых. Они делались длиннее, тоньше, и им было еще скучнее. Из году в год очень правильно функционировал маленькій рай, как настоящій хорошій заводик.

Періодически, всегда ближе к концу лета, у лиловых делались другіе голоса. Оне сильнее душились и завивались, и около них терлись тогда и свои и чужіе, Глаза у них у всех были тогда плывущіе и при движеніях рук двигалась непременно и спина и все тело.

Маленькія животныя отлично знали это время и становились нахальнее. Они знали, что лиловыя теперь до некоторой степени зависят от них. Почему, неизвестно, но зависят. Сейчас же они начинали больше пачкаться, дерзить и убегали под откос, где была земляника и кузнечики. Они знали, что теперь их не будут искать сразу. Разве пошлют розовых, — но те вообще не торопятся.

Но хорошее время было очень коротко, потому-что лиловыя всегда почему-то опаздывали, не решались, не решались,—а потом уже надо было уезжать. Так и проходило лето маленьких животных без деревьев, без гроз, без земли и без зелени.

И только когда под осень утрами уже становилось холодновато, и людей оставалось совсем мало, и вода капала с березы и с крыш подбегавших вагонов—в ветвях и в траве опять начинало шуметь и разговаривать и опять пахло песком и листьями.

Маленьких животных тоже увозили. И когда они стояли на платформе, одетые во что-то темное и городское, они казались тоже совсем серьезными и настоящими, как далекия, сжатые поля, которые только теперь почему-то стали заметными.

А потом уже все молчало. Становилось совсем, совсем тихим — оживало...

Сразу у города стало другое лицо: *Праздник*
желтое, пыльное и скучное. И вот что *Ор. 2.*
странно, — совсем обыкновенное.

Вчера по улицам торопились и ждали: маленькая маленькая была надежда, что случится чтонибудь... А сегодня даже еще скучнее, и еще обыкновеннее.

Идут, идут... Еще новые повернули из за угла. Их очень много. И они так неловко все идут, точно в первый раз, точно ноги у них тяжелыя и липкия и подошвы надо оттирать от тротуаров.

Въ окнахъ магазиновъ парусина, закрытые глаза. Магазины не праздничные, нет, просто усталые и не хотят смотреть. А людей ужасно много. Никогда еще не было так много.

Это так думал мальчик; онъ стоял у окна с девяти утра, с той минуты, как напился чаю и кончил благодарить за подарки. Он все стоял и смотрел на улицу и ему было так скучно, что ни за что не хотелось приняться. Мальчика очень тянуло заплакать, точно его обидели и обманули. Опять-же, если бы это мать его обманула, он бы очень хорошо поплакал. Но совсемъ неизвестно кто обманул и кого, и зачем... Старшіе тоже недовольны и все только едят. Им тоже скучно.

А не есть опять-же нельзя, думает мальчик, а то все испортится...

И потом ему тоже казалось, что лавочники должны всетаки любить свои всякія вещички, и онъ думал, что они

неприменно украсят их к празднику: въ каждый перочинный ножик, например, воткнут по синенькому цветку, какіе вчера продавали на улицах, а вокруг яичек будет мох и ленточки. И они с мамой будут долго, до самаго вечера, ходить от окна к окну и все смотреть . . . А лавочники просто опустили парусину. Какой-же это праздник? Если не хотят, так и не надо. Совсем уж лучше не надо!

Им одевали белыя платья и застегивали сзади . . . С прошлаго года платья стали узкими, но от этого еще параднее. И потом целый день он боялся притронуться к игрушкам, чтобы не согрешить, точно нес маленькую чашечку с водой и боялся расплескать. И ему удалось сохранить свою святость совсем хорошо до вечера, до самой бархатной ночи.

Старшіе поехали, а он стоял у окна и ждал. И над его головой катались громадные звоны круглыми и ужасно веселыми шарами. Становилось все

темнее и радостнее. И наконец он заснул у окна. Так хорошо, особенно заснул...

Удивительная была ночь.

Синяя-синяя, и такая прозрачная, точно без воздуха. И от этого она была остановившаяся, затаенная, как-будто и в самом деле должно было случиться что-то.

По набережной ходили студенты и курсистки. Они не верили в праздник, но им было пусто сегодня и потому приходилось шуметь и толкаться. Там была одна девушка с белокурыми косичками, вокруг головы. И оттого, что у нея были очень уже свежая щеки и такая маленькая голова, — ей было очень скучно без праздника.

Она смотрела на скомканных старушенок, которые торопились, и ей казалось, что верующие такие счастливые. Она забыла, конечно, что и ее бы обманули, как мальчика, который будет завтра стоять у окна с девяти утра.

А с утра люди все шли по улицам, упорно куда-то шли, и их было так много, как никогда. Что бы куда-нибудь идти, они вспомнили о каких-то безногих троюродных тетках в Галерной Гавани и об шуринах с кучей детей. В карманах у них вспотели и слиплись дешевые сахарные сласти. Они шли и с трудом и отдирали ноги от тротуаров.

Ведь, был очень большой праздник и пришлось идти куда-нибудь с утра и они пошли и не знали куда зайти и куда девать себя, — тем более, что и трамваев не было.

Шел также один гимназист, который считал себя очень интересным, потому что сочинял стихи. Он думал, что будет довольно скоро знаменитостью, а потому не придавал особенного значения своему короткому, трусливому носу и слишком приличному лицу.

Он шел очень недовольный и ему было неприятно встречаться с глазами проходящих людей, потому что они ка-

зались ему сегодня особенно противными и провонявшими: столько затхали и ежедневной скуки выбросили они сразу на улицу. Точно, правда, всю зиму копили-копили все свои противныя ссоры и вонь от тюфяков, а потом, как только выставили рамы, — бац, все на улицу.

И ему хотелось сочинить дивное стихотворение, удивительное стихотворение, где-бы говорилось, как когда-нибудь, потом, люди будут за свою одинокую зиму копить разныя особенныя и интересныя слова, стихотворения и красивые романсы, а весной, когда будут выставлены рамы, все это будет слышно с улицы. И это будет ужасно красиво и всем захочется поздравлять и украшать друг друга и себя, и стены, и фонари, и тумбы, и перочинные ножички в окнах магазинов. Вот тогда это уже будет настоящій праздник!..

Он шел с визитом к богатой тетке и ему было очень стыдно этого. Тетка даст ему, наверное, пять рублей в яйце,

а, может быть, даже десять. Но если-бы он взял, да не пошел к тетке, было-бы гораздо лучше. Тогда-бы он уже наверное сделался впоследствии знаменитым писателем. А теперь еще неизвестно.

И ему от этого было еще неприятнее встречаться с глазами прохожих, потому что если он читал у них про ссоры и скуку, то и они, ведь, могли прочесть про богатую тетку. Значит, и он не настоящій.

Было очень нехорошо.

Тогда один маленький, горбатый человек с злыми, яркими глазками влез на фонарь и остановил их всех — „Тараканишки, ай, тараканишки . . . шипел он. И они остановились . . . Но впрочем, такого человека не было. Просто гимназист дошел до под'езда богатой тетки, где стояли два карлика с красноватыми носами. Он остановился и подумал, что если-бы не было на нем фуражки и форменного пальто, а был бы он вот

такой маленькій уличный горбун, он влез-бы непременно на фонарь и говорил-бы против праздника. Слова у него были-бы прямо огненные, совсем особенныя слова. Даже не просто слова, а целое стихотвореніе... „Презренные трусы“... И он мог бы остановить их. Сейчас... И от громаднаго, смелаго волненія он сам остановился.

Но в форме, конечно, неудобно... К тому-же почти четыре. Он и так опоздал.

Он поправил фуражку и позвонил. Так и прошел праздник.



Зажег костер.
И дым усталый
К нему простер
Сухое жало.
Вскипает кровь.
И тела плена
Шуршит покров.
В огне полена.
Его колена —
Языков пена
Разит, шурша;
Но чужда тлена
Небесь Елена —
Огнеупорная душа.
Поэт и крыса — вы ночами
Ведете брешь к своим хлебам;
Поэт кровавыми речами
В позор предательским губам,
А ночи дочь, — глухая крыса —
Грызет, стена, надежды цепь,
Она так хочет добыть горсть риса,
Пройдя стены слепую крепь.
Поэт всю жизнь торгует кровью,
Кладет печать на каждом дне

*Бурлюк
Николай.*

1 ор.

*Самосож-
жение.*

2 ор.

И ищет блеск под каждой бровью,
Как жемчуг водолаз на дне;
А ты, вступив на путь изытій,
Бросаешь ненасытный визг, —
В нем — ужас ведьмы с костра проклятій,
След крови, запах адских брызг.
А может быть отдаться ветру,
В ту ночь, когда в последний раз
Любви изменчивому метру
Не станет верить зоркій глаз? —
А может быть, когда узнают
Какой во мне живет пришлец,
И грудь — темницу растерзают,
Мне встретить радостно конец? —
Я говорю всем вам тихонько,
Пока другой усталый спит:
„Попробуй, подойди-ка, тронька, —
Он, — змей, в клубок бугристый свит“.
И жалит он свою темницу,
И ищет выхода на свет,
Во тьме хватает душу — птицу,
И шепчет дьявольскій навет;
Тогда лицо кричит от смеха,
Ликует вражескій язык:

Ведь я ему всегда помеха, —
Всегда неуловим мой лик
Круг в кругу черти, — черти,
Совершай туманный путь,
Жизни тускляя черты
Затирай глухая муть;
Все равно ведь не обманешь,
Не пройдешь волшебный круг:
Пред собой самим ты станешь,
Раб своих же верных слуг.
Тонкогубый, нервный разум,
Чувство, — вечная печать, —
Заполонят душу разом,
Стоит ей начать искать.
И в гимназии и дома
Потекут пугливо дни,
Сердце искривит оскома,
Мысли станут так бледны.
Вдохни отравленную скуку
Прошедших вяло вечеров
И спину гни, лобзая руку,
С улыбкой жадных маклеров, —
Ты не уйдешь от скучных бредней,
И затуманешь свой-же лик,

3 ор.

Душа
Плененная.

4 ор.

На зеркалах чужой передней,
Публичной славою велик.
Твоих неведомых исканий
Седой испытанный старик,
С умом змеи, съ свободой лани, —
Неузнанный толпой твой лик;
Пройдет с опущенной главою
Сквозь строй упершихся зрачков.
Всем служит гранью роковою —
Нестройной зыбкой жизни зов.
Осталось мне отнять у Бога,
Забывший ветром, пыльный глаз:
Сверкает ль млечная дорога
Иль небо облачный топаз, —
Равно скользит по бледным тучам
Увядший, тусклый, скучный ум.
И ранит лезвием колючим
Сухой безстрашный ветра шум.
О ветер! похититель воли,
Дыханье тяжкое земли,
Глагол и вечности и боли
„Ничто“ и „я“, — ты мне внемли.
День падает, как пораженный воин,
И я, как жадный мародер,

5 ор.

6 ор.

Влеку его к берегам промоин,
И, бросив, отвращаю взор.
Потом чрез много дней, случайно,
Со дна утопленный всплывет;
На труп, ограбленный мной тайно,
Лег разложенія налет,
И черт знакомых и ужасных
Дух успокоенный не зрит,
Его уста навек безгласны —
В водах омытый малахит.
В своем безформенном молчаньи
Творец забытых дел — вещей,
Средь волн в размеренном качаньи,
Плывет как сказочный кощей.
И пепел зорь лежит на щеках,
Размыл власы поток времен
И на размытых гибких строках
Ряд непрочитанных имен.
Один из многих павших, воин,
В бою с бессмертным стариком,
Ты вновь забвенія достоин,
Пробитый солнечным штыком.
Из всех ветрил незыблемаго неба
Один ты рвешь закатныя цветы,

7 ор.

Уносишь их во мрак Эреба. —
В тайник восточной темноты.
И опустевшія поляны
Не поят яркость облаков,
Зажили огненные раны
Небесных радужных песков.
Ушел садовник раскаленный,
Пастух угнал стада цветов,
И сад ветрил опустошенный
К ночной бездонности готов.
Унесены златые соты,
Их мед не оросит поля.
Сокрытых роз в ночные гроты
Не вынет мед пчела — земля.
Понятна странная смущенность
И к нервным зовам глухота: —
Мой дух приемлет ущербленность, —
Его кривится полнота.
И с каждым днем от полнолуны
Его надежд тускнеет луч...
Ах! мудрость, строгая шалунья,
Вручит не мне эдемский ключ!
Ея усердные призоры
Гасят бесплодные огни

8 ор.

И другу вшедшему на горы,
Кричу я: „спину ты согни!“
И вот на бледном небоскате
Он выгнул желтый силуэт;
По нем тоскою как по брате:
Чужим ведь светом он согрет.
И здесь отторгнутый взираю
На голубья дня врата...
И се—неведомому раю
Души отдалась нагота.
Приветы ветренной весны,
В тюрьме удушных летних дней,
Завяли; и места лесны
И степь и облака над ней
Стареют в солнечных лучах.
И, как привычная жена,
Земля, с покорством дни влача,
— Усталостью окружена.
Немеют в небе тополя,
Кристалльно реют коромысла
И небо, череп оголя,
Дарует огненные числа.
Во всем повторенная внешность
Кует столетьям удила, —

9 ор.

Вотще весне прошедшей нежность
Надежду смены родила.
По бороздам лучей скользящих
Ложится отблеск огневой.
Диск солнца, горизонт дымящий,
Одел оранжевой фатой.
Повсюду побежали тени: —
От бурьянов, могил, копий,
И, провожая час вечерний,
Отчетлив голос чутких птиц.
Завяли пыльные побеги
Ветров торивших колеи.
Им проезжавшія телеги
Давали тело — вид змеи.
Теперь бессильные поникли
На зелень придорожных трав:
(И мы ведь к отдыху привыкли,
За день от суеты устав).
Зацвелый запад разсыпает,
Красы, как лепестки цветков,
И алым отсветом смягчает
Звездами блещущій восток.
Степи притихнувшей пустыня
В час на вечерний — сфинкса лик,

10 стр.

Чей тихо шепчущій язык
Пронзает сталью звездных пик.
Стихают смех и разговоры
Во мраке дремлющих аллей.
Шутливые смолкают споры
О том, кто Настеньки милей, —
К нам тихія приходят горы
Из затуманенных полей.
Всем надоел костер дымящій
И игры в прятки и кольцо,
И поцелуи в темной чаще,
И милой нежное лицо, —
Морфея поцелуи слаще:
Идут к от'езду на крыльцо.
„Алеша! где моя крылатка?
Вы с ней носились целый день“. —
— „Вы знаете, какой он гадкій!“ —
— „Вы осторожней—здесь ступень“ —
— „Я вообще до фруктов падка,
Теперь тебѣ, — мне кушать лень“ —
— „Ты, мамочка, садись в коляску,
А девочки займут ландо:
Она не так, как этот тряска;
Мишель и я махнем бедой“. —

11 стр.

*Ночная
езда.*

1.

— „Сергей, не забывай-же нас-ка!“ —

— „Маруся, приезжай средой!“

Прохладной пылью пахнет поле

II.

И ровен рокот колеса.

Усталый взор не видит боле

Как безконечны небеса; —

Душе равны и плен и воля, —

Ее питает сна роса.

В распутій равнодушной раме,

Наш старомодный фаэтон

С зловеще—черными конями,

В ночи как Ассирійскій сон,

Вдруг промелькнул перед глазами,

На миг раздвинув томный тон.

Девицы, спутницы веселья, —

Под колыханіе рессор —

(Из пледов сделал им постель я)

Уснули, как вакханок хор;

И он — дневных тревог похмелье —

Лелеет, как любовный вор.

И как укромных исполненій,

Так и безумія дворцов,

Он постоянный добрый геній —

Венечный цвет земных концов,

Денных забот и утомлений
Всегда последний из гонцов.
Его покоящим объятьям
Мы отдаемся без стыда,
Неприкрываясь даже платьем,
А он, как теплая вода,
Покорен ласковым заклятьям,
Целует нежно без следа.
И целомудренная дева,
Которую пугает страсть,
Ему, без робости и гнева,
Спешит красы отдать во власть, —
Как обольстительница Ева
Плоды падения украсть.
Ну, как не возроптать желанью,
На греков, чьей виной Морфей,
Не Артемида с гордой ланью,
Нам смертным льет напиток фей. —
Ужель осталось упованью
Во сне единственный трофей?!
Неотходящій и несмелый
Приник я к детскому жезлу.
Кругом надежд склеп вечно белый
Алтарь былой добру и злу.

12. op.

Так тишина сковала душу
Слилась с последнею чертой,
Что я не строю и не рушу
Подневно міром запертой.
Живу, навеки оглушенный,
Тобой — безумный водопад
И, словно сын умалишенный,
Тебе кричу я невпопад.
Две девушки его пестуют —
Отчаяніе и Влюбленность,
И мертвенность души пустую
Сменяет страсти утомленность.
О! первой больше он измучен, —
Как холодна ея покорность,
Как строгій лик ея изучен,
Пока свершалась ласк проворность.
И взор его пленен на веки
Какими серыми глазами
И грудей льдяной — точно реки,
Прошли гранитными стезями.
Вторая — груди за корсажем
И пальчик к розам губ приложен.
Он служит ей плененным пажем,
Но гроб обятій невозможен; —

13. op.

На миг прильнула, обомлела,
И вот, — мелькают между дров
Извивы трепетнаго тела
И разливается смех девий.
Ушла. И жуткой тишиною
Теперь другая околдует; —
Уж бледный профиль за спиною
Через плечо его целует.
Быть может, глухою дорогою
Идя вдоль уснувших домов,
Нежданно наткнушь на берлогу
Его — изобрешаго лов.
Растянет на ложе прокруста
Меня и мой тихий состав
И яды, — отрада Лукусты,
Прельет, дар неведомых трав.
И сонную нить я распутав,
Пойму чей занял эшафот, —
Под сенью какого уюта
Кровавый почувствовал пот.
Там, в час покоренных проклятій,
Познал твою волю Прокруст,
Когда, под пятою обятій,
Искал окровавленность уст.

14. op.

„Пять быстрых лет“ *)
И детства нет: —
Разбит сосуд ліяльный
Обманчивости дальней.
Мытарный дух —
Забота двух,
Сомненья и желанья,
Проклял свои исканья.
Огни Плеяд —
Мне ранній яд,
В ком старчества приметы,
Зловещих снов кометы.
Природы ков,
Путем оков
Безжалостных законов,
Лишает даже стонов.
Ея устав
Свершать устав,
Живу рабом унылым
Над догоревшим пылом.
Днем — обезличенное пресмыканіе — 16 ор.
Душа — безумій слесарь;

15. ор.
Стансы.

*) Стихи В. Брюсова.

В ночи — палящая стезя сверканія
— не победимый кесарь.

17 ор.

Змей свивается в клубок,
Этим тело согревая; —

Так душа, — змея живая,
Согревает свой порок.

18 ор.

Зачем неопалимой купиной
Гореть, не зная, чей ты лик, —
Чей покорительный язык
Тебе вверяет тень земли иной.



Въ белом зале, обиженном папиросами *Е. Гурь.*
Коммиссіонеров, разбившихся по столам; *Op. 1.*
На стене распятая фреска,
Обнаженная безучастным глазам.

Она похожа на сад далекій
Белых ангелов—нет одна—
Как лишенная престола царевна,
Она будет молчать и она бледна.

И высчитывают пользу и проценты,
Проценты и пользу и проценты
Без конца.
Все оценили и продали сладострастно,
И забытой осталась — только красота.

Но она еще на стене трепещет;
Она еще дышет каждый миг,
А у ног делят землю коммиссіонеры
И заводят пѣно-механик.

А еще был фонарь в переулке—
Нежданно-ясный,
Неуместно-чистый как Рождественская

Звезда!

И никто, никто прохожий не заметил
Нестерпимо наивную улыбку Фонаря.

.....
Но тем,—кто приходит сюда—
Сберечь жизни —

И представить их души в горницу
Христа —

Надо вспомнить, что тает
Фреска в кофейной,
И фонарь в переулке светит
Как звезда.

Меж темных елок стояла детская *Детство.*
комната, обитая теплой серой папкой.
Она летала по ночам в межзвездных *Op. 2.*
пространствах.

Здесь жили двое: „Я“, много дожде-
вых духов над умывальником и желез-
ная круглая печка, а две кровати ночью
превращались в корабли и плыли по
океану.

За окнами детской постоянно шу-
мел кто-то большой и не страшный. От-

того еще теплей и защитней становились стены.

Вечеру на светлом потолковом кругу танцовали веселыя мухи. Точно шел веселый сухой дождик.

В детскую, солнечной рябью по стенам, приходили осення утра и звали за собой играть.

Там! Ну — там — дальше, желтые дворцы стояли в небе, и на осинової опушке, за полем, никли крупныя росины по мятелкам, по курочкам и петушкам. Никли водяныя, и было знобно и рано.

Это оно! Оно! идем к нему на встречу.

Ах, какія на утро были ласковыя, серебрянныя паутинки! Откуда они пришли? Ничего не знали — от них лежал свет, и все прощала зеленая полоса, бледная, над крайними березками.

Светились травы прядями льняных волосков, что собрать в косичку осенней лесной девочки, и пойдти с ней за рябиной.

Где-то молотили, собирали и готовили перед зимой. Оттого переполнена свѣтомъ и спѣлымъ тишина. Оттого празднична дорожка к гумну и амбару, и осыпанная росой пахнут спелой землей полосы пашни. И не уходя, стоит в поле осенній веселый со светлой головой из неба.

Подходила перемена, и маленькія елочки и рябины, зная это улыбались кверху, ждали просіяв насквозь иглами солнца, и водяного неба, и до того душа танцевала с солнечными пятнышками, что съезжившись смеялись — думали: это от красных кистей рябины и оттого что печку затопят вечером.

Ночи стали черныя как медведь, а дни побелели как овес.

И еще был ранній час утра, с радужными паутинными кружками на оконных стеклах.

Это оно! Это оно, бежим ему на встречу!

И белый чайный фарфор столовой, был такой настояще-утренній, что не обманывались.

Второпях не знали в кого играть: в фею, как она прядет золотыя волокна или в путешественников, накрыв стулья верблюжьим одеялом.

Это китайцы, в узорных кофтах сидели на соломенных циновках, на берегу лазурнаго, лазурнаго моря.

Висел над их головами мамин лук, и поррей сушился пучками. Все удалилось за лазурную полосу, и соломенное солнце и колокольчики китайских беседок качались в стеклянном небе.

Пришли шелковыя с завитушками двоюродныя сестры. Стал сразу издожденный балкон с осенними столбами, и матроскіе костюмчики.

Состязались кто лучше, выдует прозрачный шарик, а в призы с собой принесли светлыя зернышки бисера.

И стало такое волненье, такое волненье, что замирая садились на корточки, и радовались.

В летучих шариках опрокидывались маленькія китайскія деревья, вниз го-

ловой, и перламутровое небо было маленьким, маленьким, розовым.

Пролетая в них отражался вверх ногами забор и они лопались.

Уж попушумывал мохнатый вечер в окна. Уж громадно было за окнами, чудно и чуждо, и сине, и сладко, жутко.

Управляющий в высоких голенищах спрашивал— „Что, ежели, будем пахать завтра?

.....
У реки жил еловый, лесной царь, его венчанная ветви берегли белок и птичек. У него был на носу, между глаз, сучек, а из глазок иногда смола вытекала. И весь лесной царь пахнул смолой.

Сюда приходили только на поклонение и приносили малинки и землянику, на листиках и клали к подножию царя.

Милый царь! Царь благословлял, а мурашки уносили малинку: царь принимал жертву.

И еще любили очень духа березы.
у него был белый атласный лобик и
глаза из мха.

Его по утрам целовали в атласный
лобик.

Он светлый, давний; еще и никого
и ничего не было, а лобик атласнаго
духа был.

По атласу сквозь тени пробегает зо-
лотце.

Собираются идти за мохом и красны-
ми ягодками брусники, для зимних рам.

Придет оно! Придет оно! Ах, бежим,
бежим скорее ему навстречу.

У сложенных дров сияют светлыя
щепки.

Уж в колеях ломкія белыя звезды и
стучит обледенелое ведро у колодца
утром, и готовят уроки.

Меж роялью и камином стоят вигва-
мы из буйволовых шкур, украшенные
перьями сойки и жемчугом, и до сама-
го ковра гостинной, под светом лампы
тянется Патагонія.

На берегах Эри и Онтарио краснеет брусника.

Когда пролетают вожди гордых Павлинов, на долгогривых конях, мимо окон столовой—видят звезды.

Кровати уже отплыли, и кто-то большой и не страшный шумел за стеной.

А комната летела меж крупными звездами, в синих бархатах, и летели вместе темные башни елок хороводом стражей.

Большие прекрасные бегемоты, оставляя животами дорожку по золотому топазовому песочку, подходили к цветущим медовым деревьям, и прозрачные, полные соком медовые плоды, падали им в рот.

Стороной, стороной проходили звеня олени.

Над вигвамами кувыркались бисерные птицы.

В мглистом, мягком небе были опрокинуты дворцы.

А с дворцов звенели колокольчики,
потому что за мгlistым небом убегали
излучистыя, меж садами розовыми, го-
лубыя дорожки.

Голубыя, голубыя, голубыя.

.....

Радость летает на крыльях,

Ветер.

И вот весна,

Op. 3.

Верит редактору поэт;

Ну — беда!

Лучше бы верил воробьям

В незамерзшей луже.

На небе облака полоса—уже—уже...

Лучше бы верил в чудеса.

Или в крендели рыжие и веселые,

Прутики в стеклянном небе голые.

И что сохнет под ветром торцов

полотно.

С'ехала льдина с грохотом.

Разсужденія прервала хохотом.

Воробьи пищат в весеннем

Опрокинутом глазу. — Высоко.



Было утро все убрано алмазами. По Недотрога. алмазным мхам, — по лугам пушило солнце лучами. Холод далеких-далеких льдов таял в воздухе горячем, с золотыми иголочками... И был Сентябрь.

Вышел Бог на лес и на луг. Выбежала к опушке белая Недотрогочка в нежную белую овечью шерсть одета, и гордая, — пальцем никому себя тронуть не позволяет.

Грелись пушистыя сосны коротатики, Прокололись сквозь мхи тоненькие красные грибки, — точно булабочки. И так тихо в лесу стояло и грело Солнце, что захотелось Богу благословить кого-нибудь.

И спрашивает: „Кого благословить мне в солнечном Сентябре?“... И никто Ему не ответил — никто его не видел...

Подбежала Недотрога и говорит: „А я Тебя увидала, Боже!“

Засмеялся Бог и благословил Недотрогу. Засветилась бѣлая недотрога, загорелась вверх песенкой, тонкой, зеленой — как елочка, хрупкой, белой — как свечечка, царственной, — как корона высоких елей.

Услыхали с севера суровые люди, — пришли и спрашивают: „чья—это песня такая королевская? Мы взбирались на ледяные горы почти до звезд, — но не встречали мы там песни прямой и гордой, как свечечка!“

И выбежали из леса маленькіе доносчики и выдали:

„Это Недотрогина песня такая королевская! Недотрогу, с белым горлом, благославил Бог в Сентябре“.

Взяли люди песенку в бирюзу и изумруды, и стала она им светить.

Взялись люди ловить Недотрогу, — чтоб была она с ними всякій день: ловили и могли поймать.

Хоронили Недотрогу голубья сосны,
хоронили зеленая елки: — берегли до
весны. . . . Вызвездятся белые цветы по
морощкам, засветится Недотрога весне —
песней, — как белый венчик, как белая
коронка! . . .

Пусть придут с Севера люди спра-
шивать: „чья — это песнь нам слыша-
лась — Светится, точно белая коронка!

На земле есть утрення страны. *Утрення*
Жемчужнокурые великаны живут *страны.*

там.

Эти страны, умытыя влажной темнотой *Ор. 4.*
ночи, выходят нечаянной улыбкой на небо
и на росную землю.

Вот из сырины заповедных ельни-
ков поднимется невинный склон неба —
на самую яснину поплывут лучезаринки.

Ясны, улыбчивы облака над голубой
круглиной моря.

Неподвижно их вечное удивленье;
оно родилось, где легли воздушныя над-
морныя полосы в вечность, ясность,
снежность и сон.

По зеленой прозрачности улыбаются
перламутром.

Только в девственно — холодном воз-
духе утра могут быть великаны.

Они не рождаются между нами.

Так крепок нетронутый воздух, игра,
восторг и крылья.

Здесь бодры беги, радужны росы, вне-
запны нежныя цветочныя звездочки.

Ранняя страна не знает ни любопытства, ни преступленья, и жестокость сладострастия чужда ей.

Звонко по твердой утренней земле бегают веселые добродушные великаны.

Их топот раздается по берегу. Они любят выиграть на самый взбег холма—встать над морем!

Точно где-то воркует гигантский голубь? Это их гортанные голоса. Они, играя, опрокидывают ногами свои обширные, голубые и розовые чашки с утренним напитком и хохочут за горой. Но чаще их голосов их молчаливые улыбки.

И не всякий утренний час свеж довольно для чуда — чтобы родился в утренней стране и стал жемчужный.

Тайный миг утренней страны редко подстережешь.

Вот не боясь холода, раскроются белая звездочки по суровым мхам пустырей.

Черные острия елок сторожат.

Вот родилась ясина в еще нетронутый свет утра. В этот ключевой прозрачный час, на самый взлобок неба выплывет и встанет удивленное облако, выяснеет на жемчужном его лице улыбка, точно даст знак облачнымъ лебедямъ за море...

Тогда народится, явится великан и побежит по взгорью.

Жемчужовый, добрый и твердый.

Тяжелодушным, непосвященным путь в страну закрыт.

Но кто хочет слышать, слышит.

Из утренней страны к нам являются вести. Между голых ветвей осинки небо прозрачно неизреченной далекостью ясности.

В траве неожиданно наострились листочки. У кустов такое выраженье, точно они встрепенулись, к облакам надморья протянулась веточка — это знаки от туда.

Ах, над нашей знойной землей прохладны жемчужныя льдины.

Твердые и ранняя приходят из утренней страны созвучья. Все, что хочет быть девственным телом завтра и вдохновением родилось там.

И мы узнаем всегда тех из нас, кто причастен вздрогнувшей радости ранних лучей. — По крылатым бровям, по непреклонной ясности лба, по гордой затаенной улыбке — можно всегда их узнать.

По золотому сосно-бережью нежило *Камушки.*
солнышко. Гладило спинки ласковых *Ор. 5.*
камушков, на песчаной ладони берега.

Проснулись камушки, круглились, сияли, укрылись, урылись бархатным песочком. . . Ах!

Были желанны камушковые страны...
По улегшейся уласканной отмели льнули волны воркуйки. . .

. . . Плескали в горячей бочек отмели.
Протекал день по камушкам.

Пришел Ласкунчик, вырыл ямку —
глубокую-глубокую. Там спали неро-

дившіеся еще для солнца камушки, черные, слепые: залепил их сырой песок.

И пахло там соленым холодом и соленой глубокой тиной. . .

А наверху солнце святило валунковыя светлыя страны.

Ласкунчик набрал светлые валунчики: — они чирикали точно чайки и журчали меж пальцев.

Стало солнце старинным. Стало большое, малиновое. Село на кочку, распушило лучики.

Воркуйки нежились у отмели — пли. . . пли. . .

Больше нельзя играть камушками. Они приникли, прижались к сырому песку и спят. Камушки темные, плоскіе и слепые.

А у отмели невидимым шелком всю ночь нежат говоруйки — пли. . . пли. . . пли. . .



I.

Все та же унылая Диркянская страна *С. Мясоедов.*
мелькала перед глазами. Верно уж с *В дороге.*
полгода еду я по ней, но все же сколь
приятнее ехать с этим экспрессом по Тер-
рессо-Манульской дороге.

Как вспомню сколько я ждал в про-
клятой Аффианской станции, как прому-
чился с мелкими железно-дорожными
ветками, так лишь от того, что еду по
большой дороге, станет отраднее. Дир-
кяна здесь представляла, почти пустыню;
местные жители говорили, что это одна
из самых отдаленных провинций. По
счастью я еще умел немного говорить
по диркянски; ужасно неприятно не
знать языка страны. Обер-кондуктор,
с которым я за последнее совместное
пребывание подружился, был сам диркя-
нин, но из-под-столичных и сам, хотя,
конечно, и лучше меня, но тоже не со-
всем хорошо понимал местное наречие;
все-таки с его помощью было недурно.

В поезде народу было много, со всех стран, на моей же скамье сидели моя маленькая дочь и брат. Небо было зеленое, но и грязное; воздух тяжелый и местность неприглядная. Маленькая Лелечка, моя дочь, не хорошо понимала, что едем мы по чужой стране, и ей было тяжело; брат все время хмурился и был не в духе.

В одном месте пейзаж стал веселее: текла речка и на холмиках виднелись замки. Нечто родное в этой стране показалось мне в них, отчасти они содержали знаки Грамса. Лелечка заплакала, а я, в порыве измученного чувства, спросил обер-кондуктора, так как думалось мне, должен же он знать куда идет поезд. „Не печальтесь так“, ответил он, „скоро увидите вашу родную землю Блейяну“. Я восторженно и не поверил; он не настаивал и спокойно прошел дальше щелкать билеты. Станный человек этот обер: обладает большими познаниями, умен и развит, аккуратен в

расщелкиваніи билетов, мягок с кондукторами и безчувствен. Чувств у него как бы совсем нет, и ничего-то он не хочет знать кроме поезда. Для Лелечки, он всегда охотно приносил со станціи кипятку и бутерброды; брата моего почему-то не любил и всегда при его виде безнадежно махал рукой. Брат мой смотрел в окно и безсловесно наблюдал Диркяну. Одно время запропастился мой обер, давно не проходил, но вот я поймал его и прямо спросил: „послушайте, обер, отчего у вас нет чувств?“ Вопрос был несколько комичен, но оберу было все тирко. Он серьезно посмотрел на меня и промолвил: „Разве нужны оберу чувства? там, когда приеду я к себе, когда не нужно будет мне щелкать билеты, я буду жить и чувствовать, но в этом поезде я только обер“. Что правильно, то правильно, подумал я и спросил, не тяжело ли быть обером? „Отчасти“, загадочно ответил он и молча показал мне на небо, как бы желая обратить мое

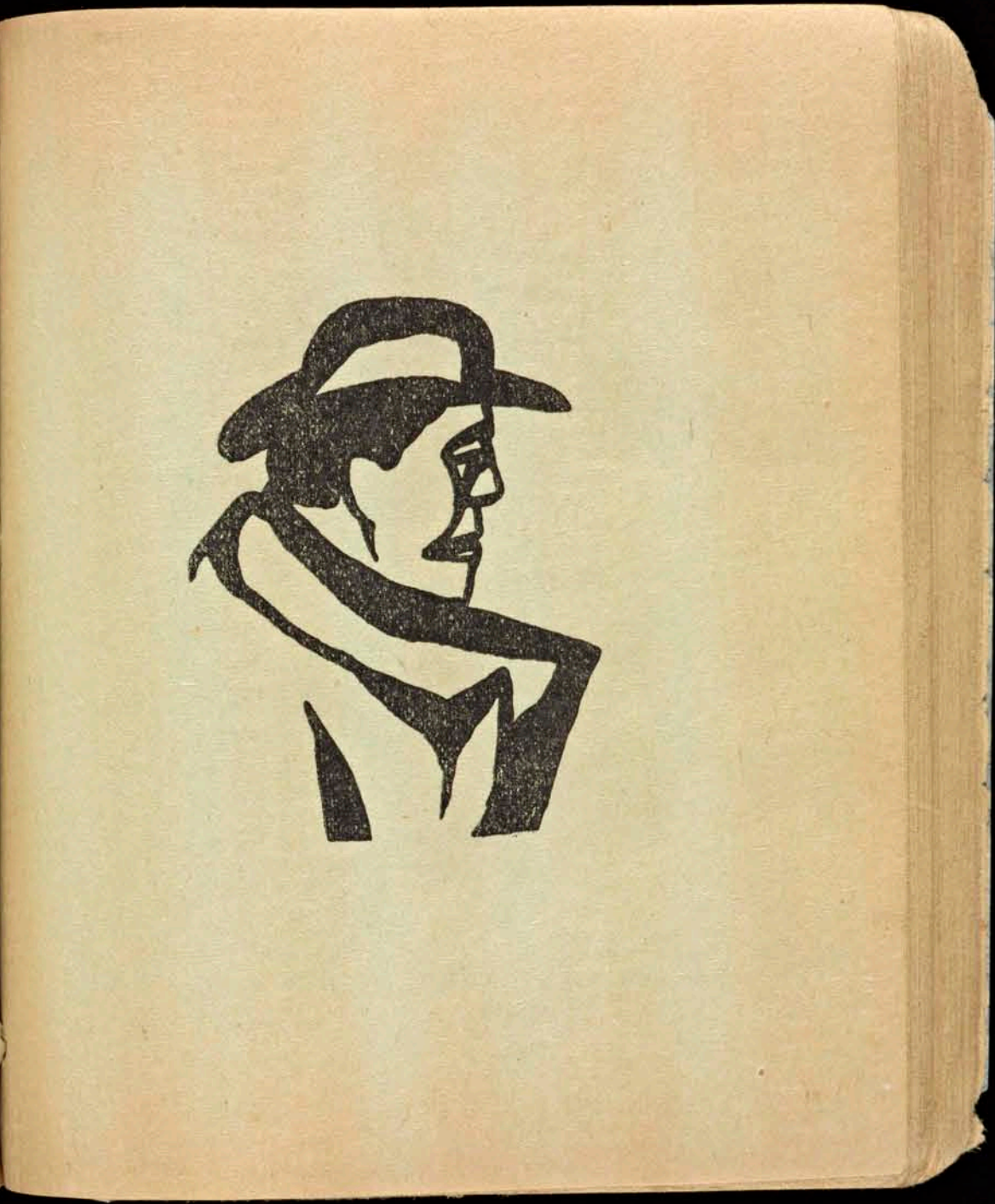
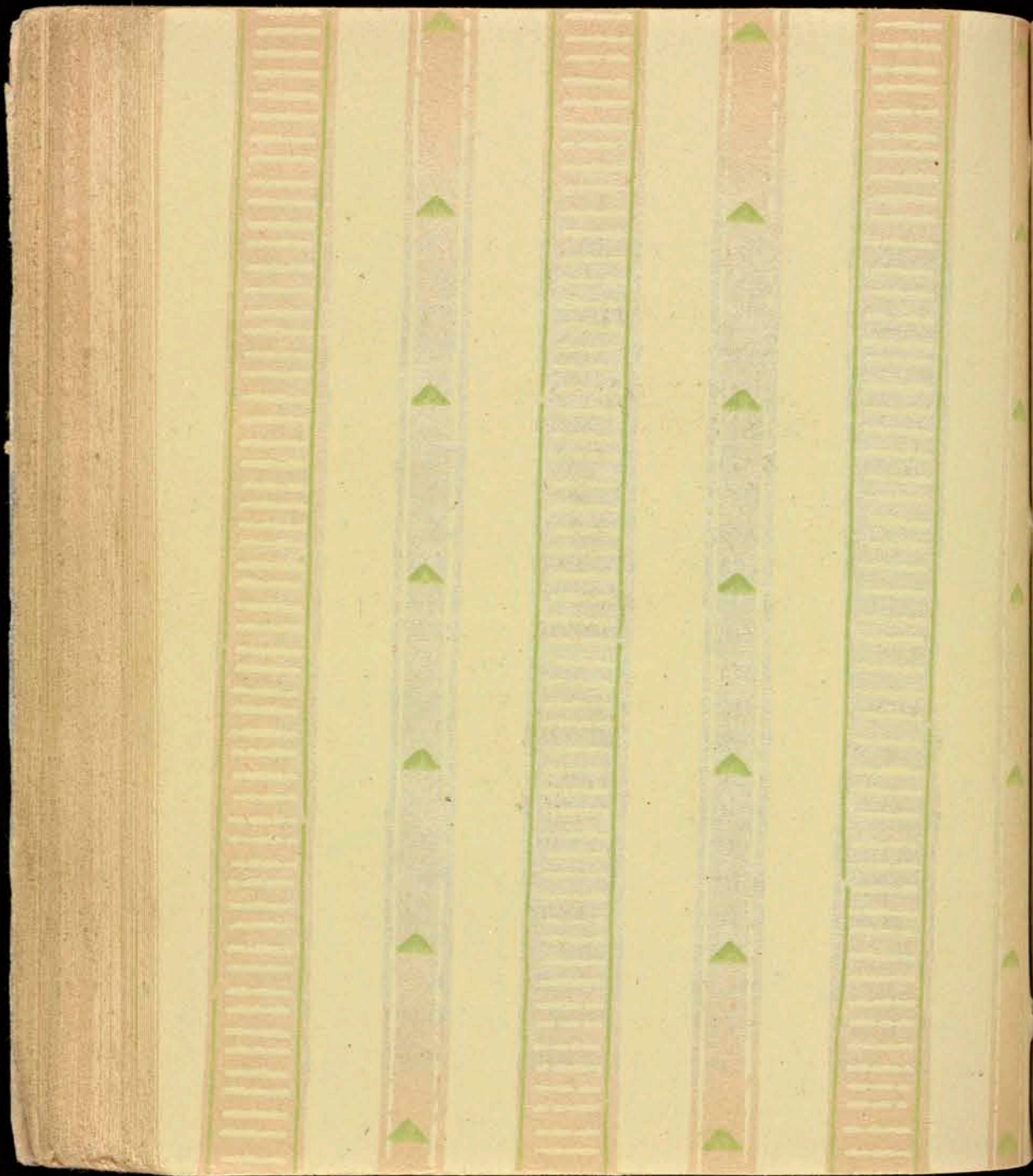
вниманіе на что-то. Небо принимало желтоватый оттенок, внутри вагона настроеніе и воздух были отвратительны. Многие плакали. Поезд со свистом остановился, обер вышел из него и со всей силой прокричал: Диркянскій Джентильев №... , номера я не понял. Я открыл окно, посмотрел вверх и вниз. И там и сям виднелись множества путей и все уходило в безконечность. Пути шли параллельно земле, и не было возможности подняться или опуститься даже к ближайшему. Обер любезно раскланялся с начальником станціи и получил какія-то инструкціи. Плохо разбирал я очертанія всего безчисленнаго ряда путей, и чужд был мне этот не родной Джентильев.

II.

Была зима и было холодно. Ночь была настолько больше дня, как не было даже в Аффіане. Звезд совсем не было, а верстовые столбы содержали не очень

большое число верст от Терресса, верст до Мануля совсем видно не было. Брат мой все время сомневался, в тот ли мы попали поезд и хотел несколько раз слезать; иногда трудно было его удерживать от этого, тогда он начинал любезно разговаривать с публикой в вагоне. Он почти совсем не знал диркянского языка, а все же говорил. Конечно, его не понимали. Впрочем он и Блейянский язык знал далеко не в совершенстве. И странно: я в совершенстве говорю по Блейянски, Лелечка еще мала, но научится тоже, обер хорошо знал Диркянский язык, хотя практика невернаго наречія испортила его язык, но брат мой не владел хорошо ни одним языком, а поне-многу зря из'яснялся на всех. В виду этого Лелечка не хотела признать его за дядю и на все мои доводы, что ведь он брат ея отца, она пожалуй, не без некотораго основанія отвечала: „но он не умеет говорить, что же он за дядя.“

Зеленое небо желтело не на шутку, в вагоне поговаривали, что скоро граница. Обер объявил, чтобы готовились к перемене страны, однако не упомянул о таможенном досмотре. На мой об этом вопрос он равнодушно отвечал: „скоро мы въедем в Блейянское царство, но поезд долго будет идти там без остановки. Этот поезд пойдет прямым сообщением в царство Келейское или же Ноосянское, еще неизвестно; ведь вы знаете, что с этой дорогой иногда бывают несчастья и отклонения“. Сердце радостно забило во мне, так вот что означало желтение неба! Однако, что же это: проезд через Блейяну прямым сообщением в царство Келейское? Я вопросительно глядел на обера, который очевидно, понял мое беспокойство и начал меня уверять, правда не доказательно, но с искренним чувством, что все будет обстоять благополучно и неужели меня не утешит хотя бы только вид, пролетающей мимо Блейянской земли...



Скользи своей стезей алмазный
Неизсякаемый каскад.

На берегу живу я праздный
И ток твой возлюбить я рад.
Давно принял честную схиму
И до конца каноны, треб
Постигши, смерть, с восторгом приму,
Как враном принесенный хлеб.
Вокруг взнеслися остро скалы,
Вершины их вянчаны льдом,
В вечерний час хранят опалы,
Когда уж темен скудный дом.
Я полюбил святые книги,
В них жизнь, моя немая цль,
Онъ ползныя вериги
Для духа, в праздности недель,
И пусть к ночи стекло, наяды,
Колеблят легкия, перстом,
Храню единыя услады
В моем забвении пустом.

Шумящее весеннее убранство,
Единый миг затерянный цвѣтах.
Напрасно ждешь живое постоянство,
Струящихся, быстро бегущих снах,

*Бурлюк
Давид.*

Op. 1.

Op. 2.

*Щастье.
Циника.*

Изменно все и вероломны своды,
Тебя сокрывшие от хлада льдистых
бурь,
Везде, во всем, красоту шаткой моды,
Ах циник, щастлив ты, иди и калам-
бурь!

Молчать возможно лишь в пещере,
Там красный крик таить,
Спасаться углубленной вдре,
Кратеры смерти пить!
Книг запыленных переплеты.
Как быстро мчатся корабли
И окрыляются полеты
От замурованной земли.

Родился в доме день туманный
И жизнь туманна вся.
Ношу венец, случайно данный,
Над бездной ужасов скользя.
Так пешеход, так злой калека,
Косит на радостных детей,
И зла над юностью опека,
Случайной спутницей своей,
Грозит глазам весело людным
Зеленым ивиным ветвям.

Op. 3.

Затворник

Op. 4.

И путь безрадостный и трудный
Влачит уныло по полям.
Упало солнце в кровь заката,
К восторгам дня нам нет возврата,
Лишь облаков вечерних дым,
Восходит горестно над ним.
И если кто сейчас умрет.
Над тем уж солнце не взойдет,
Лишь облаков вечерних дым.
Воспрянет горестно над ним.
На миг один владел тобою,
Золотоокою молодой,
И холод бородой сядою;
Вот придушил своей бадой.
Уста навек сомкнул бледня,
Стеклеть глазам он приказал,
И зубы, (белая аллея)
На череп страшный нанизал.
Откроешь вежды, не поверю,
Твой смех завял навек,
И я умру под этой дверью;
Найдет бродячий человек
Склеп занесен свистящим снегом,
Как груди милой, близной,

Op. 5.

Op. 6.

Копыто оглашает богом
Забывший путь, свой путь родной;
Проскачет мимо, усмехнется,
Сук траур, путь из серебра,
Подкова тяжкая сорвется,
Крошится льдистая кора.
Богущие украдкою часы,
Стремительность и медленность тя-
готны,

Op. 7.

Для времени сыпучаго васы,
Без вас мгновения отчаянней несчетны,
Колблет бог ваш черепа власы,
Скользящие вперед безповоротны.
На выю лезвие, несущие косы.
С жестоким тиканьем злорадно без-
заботны.

Op. 8.

Шестиэтажный возносился дом,
Чернели окна, скучными рядами,
И ни одно не вспыхнуло цветом,
Звуча знакомыми следами.
О сколько взглядов пронизало ночь,
И бросилось из верхних этажей.
Безумную оплакавшие дочь
Под стук не спящих сторожей.

Дышавшая на свежей высоте,
Глядя в окно, под неизвестной кры-
шей,
Сколь ныне чище ты и жертвенно свя-
тей,

Упавши вниз, ты вознеслася выше.
Немая ночь людей не слышно,
В пространствах царствіе зимы.
Здесь вьюга намедает пышно
Гробницы бьются средь тьмы.
Где фонари, где с лязгом шумным
Скользят кошмарно поезда,
Твой взгляд казался камнем лунным,
Он как погасшая звезда.
Как глубоко под черным снегом
Прекрасный труп похоронен.
Промчись, промчись же шумным богом,
В пар увянь со всех сторон.
Со звоном слетели проклятья,
Разбитыя ринулись вниз,
Раскрыл притупленно объятья,
Виском угодил на карниз,
Смялась вверху колокольня,
Внизу собирался народ,

Op. 9.

Op. 10.

Старушка была богомольна,
Острил и пугал идиот.
Ниц мертвый лежал неподвижно,
Стеклянные были глаза,
Из бойни, безжалостно, ближней,
Кот лужу кровавый лизал.
Ты окрылил условныя рожденья,
Сносить душа их тайны не смогла,
Начни же наконец начни свое

Op. 11.

служенье,
Смотришь в излучисто кривыя зеркала.
Неясно все, все отвращает взоры,
Чудовищно создав свое небытие,
Провалы дикіе и снов преступных

горы,
Ты принял, кажется догибели питье.
Чудовище тянулось между скал,
Заворожив гигантскія зеницы,
Махровый ветер персты его ласкал.
Пушистый хвост золоторунной львицы,
Огромнейшим теплеющим зигзагом,
Простерлось тело меж колючих трав,
И всем понятней было с каждым

Op. 12.

шагом

Как неизбежно милостив удав,
Свои щадя стократныя слова,
Клубилось там, как внятной колыбели,
Чуть двигаясь шептали „раз“ и „два“
А души жуткія как ландыши слабели.
Твоей бряцающей лампадой
Я озарен в лесной тиши.
О призрак смерти пропляши
Пред непреклонною оградой;
Золотогрудая жена
У еле сомкнутого входа,
Теплеет хладная природа,
Свои означив письма,
Слабые призрачные взгляды
Округло плавны купола.
Я выжег грудь свою до тла
Обретши брачныя наряды
Об'ятій бѣлых жгучій сот.
Желанны тонкія напевы
Но всеж вернее черной дѣвы,
Разящій неизбежный медъ,
На изступленный эшафот,
Взнесла колеблющія главы,
А там упорный черный крот

Op. 13.

Op. 14.

Питомец радости неправой,
Здѣсь осыпаясь брачный луг,
Чуть движет крайними цветами,
Кто разломает зимній круг,
Протяжно знойными руками.

Звала тоска и нищета,
Взыскупя о родимой дани,
Склоняешь взор: „не та не та“
Движенья быстроглазой лани.

Op. 15.

Монах всегда молчал,
Тускнѣли очи странно,
Блѣла строго панна
От радостных начал;
Кружилась ночь вокруг
Свивая покрывала.

Живой родной супруг,
Родник двойник металла,
Кругом как сон как мгла,
Весна жила плясала,
Отшельник из металла
Стоял в уюте зла.

Ты изошел зеленым дымом,
Лилово синій небосвод,
Точась полдневным жарким пылом,

Op. 16.

Для неисчерпанных угод,
И может быть твой челн возможный,
Постигнем в знак твоих побед
Когда настанет непреложный
Все искупающий обет.

Сваливший огонь закатный пламень
Придет на свой знакомый брег,
Он как рубин, кровавый камень,
Сожжет молитвенный ковчег.

Пой, облаков зиждительное племя,
Спешащее всегда за нож простора,
Старик, немой, нам обнажает темя,
Грозя гранитною десницею укора.
Прямая цель, как далеко значенье,
Всегда веселые, к нам не придут

Op. 17.

назад,
Безсилie слепое истощенье,
Рок воздохнув „где твой цветистый
вклад“;

Где пышные твои внезапные разсветы
Светильни хладные зеленые ночей?
Угасло все, вокруг голос дымной леты.
И ты как взгляд отброшенный ничей.
Упали желтые изсохшия ланиты

Кругом свилася тишь, кругом слеглася
темь.

Гдѣ щечки алыя пьянящія Аниты
О голос сладостный, как стал, ты глух
и нем.

Бѣлила отцветших ланит,
Румянцы закатнаго пыла,
Уверен колеблется мнит,
Грудь жертвой таймой изныла.
Приду, возжигая алтарь,
Создавши высокое место,
Я вновь, как волхвующій царь,
Сжигаю пшеничное тесто.
Изсохшая яркая длань,
Тянись вслѣд за пламенем острым
Будь скорое, горнее встань,
Развейся вокруг пологом пестрым.
Твое голубое зерно
Лежит, охлажденным налетом,
К просторам небесным окно,
Очнись же молитвы полетом.
Все тихо, все неясно, пустота,
Нет ничего, все отвернулось, странно,
Кругом отчетливо созрѣла высота

Op. 18.

Op. 19.

Молчаніе царит, точка покровы прянно.
Слепая тишина, глухая темнота,
И ни единый след свой не откроет

свиток,

Все сжало нежныя, влюбленныя уста,
Все как бокал, гдѣ днесь кипел

напиток.

И вдруг почудились тончайшіе шаги,
Полураскрытых уст неизяснимых

шорох,

Душа твердит не двигаясь „беги“,
Склонясь как лепесток язвительных

укорах.

Да это след завядшій лепесток,
Хоть пыль кругом свой завязала

танец,

„Смотри“, шепнул далекій потолок,
„Да здесь прошел невнятный

иностранец“.

Лебедь бѣлая плыла,
Лебедь бѣлая плыла,
И до вечера с утра
Лебедь бѣлая плыла,
Лебедь бѣлую звала,
Бѣлую звала.

И от берега поднялся, стлался, стлался,
Разстилался темный вечер.

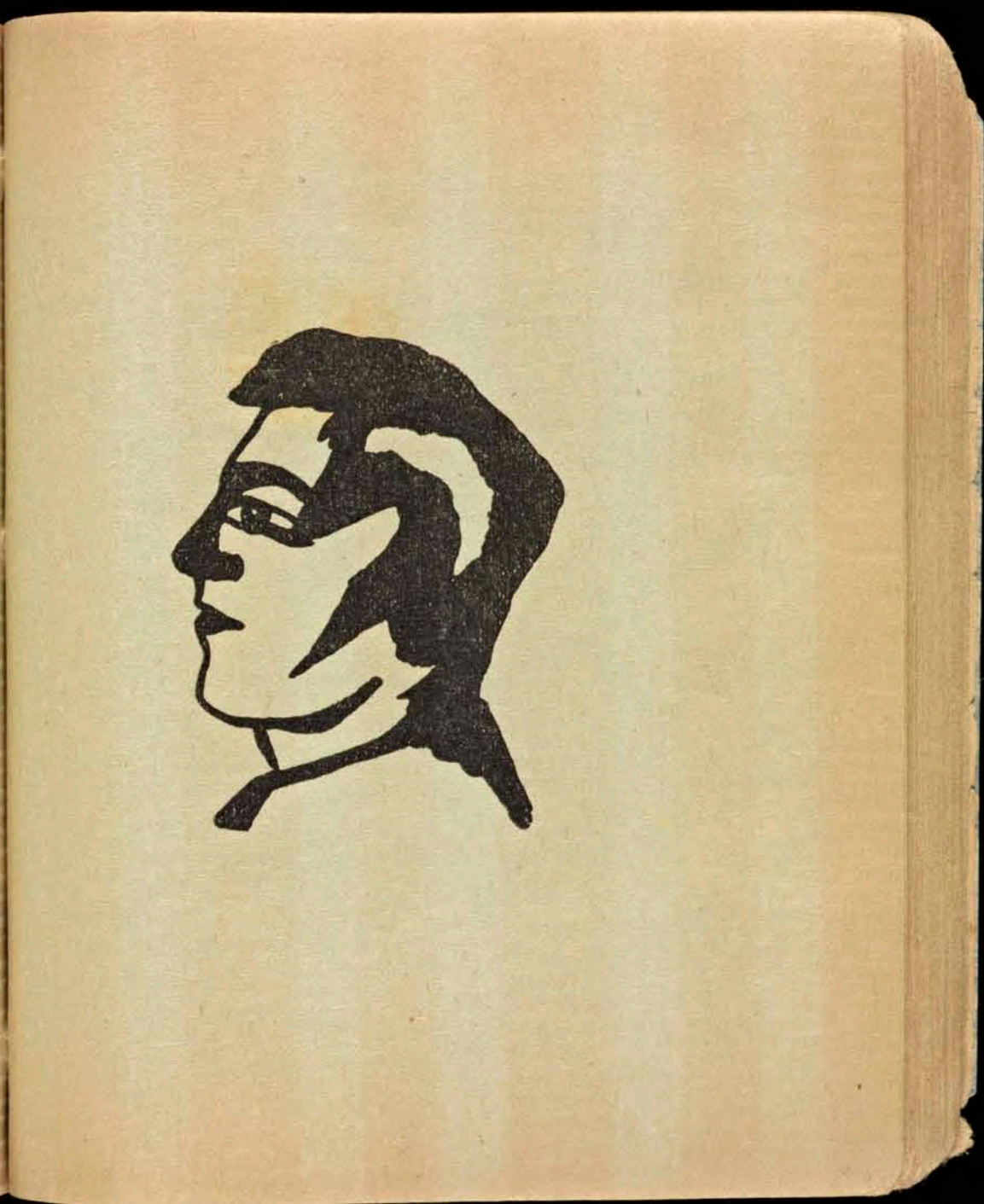
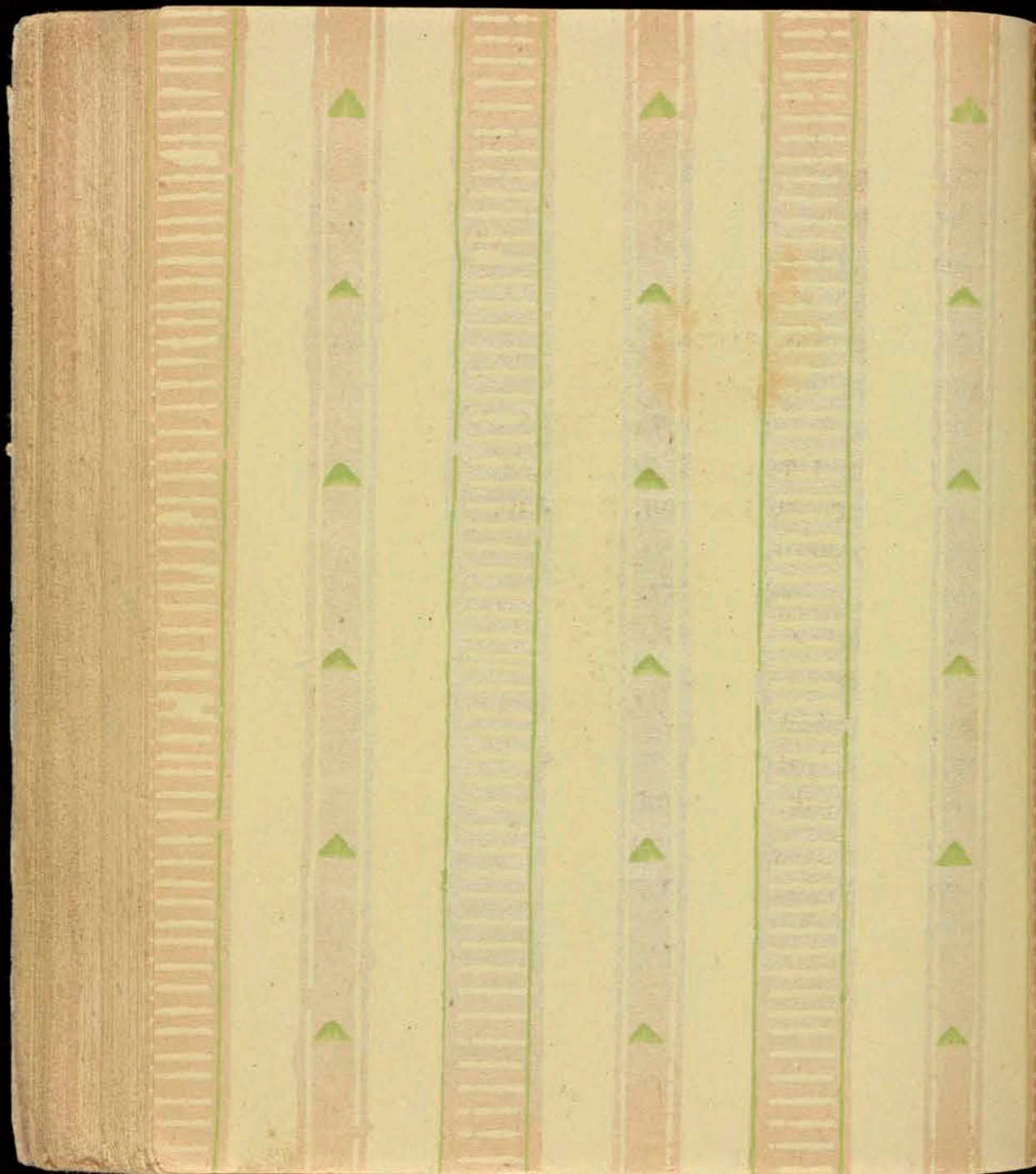
И от берега поднялся, вспыхнул,
Рдѣл и разгорался,
Грохотал, горѣл закат.

Лебедь бѣлая отстала,
Лебедь бѣлая устала,
Бѣлую устала звать.

Отражался пятнами пожара,
Без шипенья, без удара,
В блеклом зеркале закат.
И задернулось, вздохнуло
Онемело небо-толо.

А. М. Гей.

*Лебедь
белый.*



О Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскущие.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв — осенней рожице — немного осторожен для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от

В Хлебников

Зверинец.

Op. 1.

(Пев. В. И.).

облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны кривляясь, как кривляются во время землетрясенія горы, просят у ребенка поестъ влагая древній смысл в правду: есть хоуа! поестъ-бы! и приседают точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз ожидая приказанія сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современнаго русскаго.

Где грудь сокола напоминает перистыя тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина мы чтим перваго магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающія струи волн, разбег которых — виды,

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по разному видеть Бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мучения грешников, тюлень с неустанным воплем носящийся по клетке.

Где смешные рыбкрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрчивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющей кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов как кумиры во время землетрясенія с храмов и крыш зданій.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо потом на лапу.

Где видим дерево—зверя в лице неподвижно стоящаго оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему что он парит высоко под горами? Или он молится?

Где лось целует через изгородь плоскогорого буйвола.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные лапы с движениями человека, завязаннаго в мешок и подобный чугунному памятнику вдруг нашедшему в себе приступы неудержимаго веселья.

Где косматовласый „Иванов“ вскаки-

ваит и бьет лапой в железо, когда сторож называет его „товарищ“:

Где олени стучат через решетку рогами.

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному — имеет-ли оно ноги и клюв — божеству.

Где пепельно серебряныя цесарки имеют вид казанских сирот

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.

Где волки выражают готовность и преданность.

Где войдя в душную обитель попугаев я осыпаем единодушным приветствием „дюрьрак!“

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном груз-

ном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогаго буйвола движется ровно направо и налево как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!

Где носорог носит в белокрасных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к возстанію рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.

Где вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола и вспоминая, что глаз казака и

этой птицы один и тот же, мы начинаемъ
знать кто были учителя русских в во-
енном деле.

Где слоны забыли свои трубные кри-
ки и издают крик, точно жалуются на
разстройство. Может быть, видя нас
слишком ничтожными, они начинают
находить признаком хорошаго вкуса из-
давать ничтожные звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какія-то пре-
красныя возможности, как вписанное в
часослов слово Полку Игорови.

На днях я плясал.
На этой неделе. Какого дня?
Среда, четверг или воскресенье?
В сидячей жизни это спасенье.
Знакомые, приятели, родня.
Устал. Вспотел. Уж отхожу.
Как вдруг какой-то воин: постричься
вам пора-с!
Сказал и ныр в толпу. Я думал: вот
те раз!
Я уже послать ему собрался вызов

*Маркиза
Дезес.*

Op. 2.

Но не нашел в толпе нахала.
Кроме того здес нужно было перейти
какую-то межу.

Я в созерцаніе ушел чьего-то опахала
Из перышек голубеньких и сизых.
Наука-то больно проста: сначала ми-
лостивый государь,

А потом свинцом возьми да и ударь.
Да... А потом, глядишь и, парня
Несут кромсат в трупарню.

Делкин. Ха-ха! куда он гнет!
Забавник! И не моргнет!

Перховскій. Ну, я не трушу.
Это и не странно. Лицом имея грушу...
Делкин я бы хотел под мушкою стоять
разок

Глобов. А правда хороши последний
как мазок,

В руке противника горсть спелой вишни
Перховскій Ну тогда и выстрелы нем-
ного лишни

И тот кто сумрачен, как инок
Тогда у нас портит поединок
Холст. Е-е-е. Вы правы. Я как-то шел.

Станом стройный сын степей
Влек саблю и серебро цепей...
Лель сходя. В взоров море тонучи
Я стою одетый в онучи.
Все Он чудо! Он прелесть:
Он милка!

От восторга выпала моя челюсть,
Соседка, передайте мне вилку!

Ц е н и т е л ь.

Это тонко. Да! Весьма!

Вы заметили какая нежность письма?

Л ю б и т е л ь.

Да! Здесь что-то есть!

Не знаете, здесь можно поесть?

П и с а т е л ь.

Какой образ, какой образ! Пойду и запишу.

Л ю б и т е л ь.

Пойду и чтонибудь перекушу.

Ц е н и т е л ь.

Я идучи сюда уже перекусил.

Но он немного здес перекосил,

П и с а т е л ь.

„Пустыня Хоросеана“.

А это: „Купающаяся Сусанна“

Х у д о ж н и к.
Молодец! Молодчинище! Здоровенно!
П и с а т е л ь.

И все так изысканно, изученно и от-
кровенно.

Бровки, лобик, губки.

Ах, здес есть даже покупки!

П о ж и л о й г о с п о д и н.

Какая прелесть глазами поросенка
смотрит вот с этого холста.

Я бы охотно дал рублей с пол ста
Он в белое во все одет и лапоть с
онучем

Соединен красивым лыком. Склоненіи
местоименія „он“ учим

Могли бы ответить детскіе глаза, спро-
сившему, чем занято

Ныне дитя. Наступят сроки и глав-
ным станет-то,

Что сейчас, как отдаленный гнев и
ужас мерещится,

Так... Я буду рад когда мое имя с
надписью „продано“ на этот холст
навесится.

Но что? Он подает нам руку! Послу-
шай, дорогая, это не полотно,
Что взоры привлекло, как лучшее
пятно.

Ну что-же новый друг! Из холста во-
ображаемого выдем-ка!

Какая милая выдумка
Заставила вас нарядиться в наряды
Леля?

Или старинная чарующая маска
Готова по сердцу ударить, как новая
изысканная ласка?

Лель.

Мне так боги Руси велели.

Пожилой господин.

Да? Какой вы чудак. Вы чудной.

Лель.

Кроме того я связан в воле одной

Пожилой господин.

Кем полькой, шведкой, Руси дочью?

Лель.

Нет, но звездной ночью

Когда я обещанье дал расточиться в
руси русской рать

И, растекаясь, в битвах неустанно умира-
рять.

П. Г.

Странное обещанье в наш надменный
век.

Прощайте, милый человек.

Поэт одетый лешим.

Стан пушком младым золочен
Взгляд мой влажен, синь и сочен.
Я рогат стоячий вышками.
Я космат висячий мышками.
Мои губы острокрайны.
Я стою с улыбкой тайны.
Полулюд, полукозел
Я остаток древних зол.
Мне веселому и милому козлу
Вздумалось прийти с поцелуем ко злу.
Разочаруют, лобзая, уста
И загадка станет пуста.
Взор веселый, вещій, древен
Будь как огонь сотлевших бревен.
Распорядитель вечера слуге.
За Рацаелем пошли.

Кто это пришли?

Слуга Маркиза Дэзес.

Маркиза Дэзес.

Я здесь не чувствую мой вес.

Так здесь все легко и истинно-изысканно. Но что здесь лучшее—ответьте же, говори-же!

Хорош этот красавца затылок бычий?
И здесь совсем, совсем все как в Париже!

И вы прекрасно поступили, вводя этот обычай!

И чисто все так, сухо,
Какая тонкая обивка. В цвете — умирающая муха?

Мило, мило. Под живописью в стаканчиках разставлены цветки?

Духов бессонных котелки?

Так они зовут? Собаки синей коготки?

Не той-ли, которая, живя и паки,
Утратила чутье в душе писателя с происхождением от собаки?

Спутник.

Быть может да, но вот и он...

М. Дзес.

Вы затрудняетесь найти созвучье —
извольте: Бог-рати он.

Я вам помощница в вашем ремесле.

Спутник.

Да, он Богратион, если умершие, ус-
тавшие хворать

И вновь пришедшие к нам людям-
Божья рать.

Смерть ездила на нем, как Папа на
осле

И он лежал омыленный в гробу.

М. Дзес.

О Боже, ужасы какие. Опять о смерти.
Пощадите бедную рабу.

Спутник.

Я уже вам сказал

Той звездной ночью, что я искал,

Надменный, упорно смерти.

Во мне сын высотник.

Но сегодня я уже не вижу очертаний
нуеловимой дичи

Которую я преследовал, вабя и клича,
Дамаск вонзая в шею шура

Коварство маск срывая в стенах Порт-
Артура.

Неутомимый охотник.
То было в годы, когда Петербурга острие,
как клина,

Родной земли пронзало длины.
Родной земле он делал гроб, весну
замкнув под свод порош.

И был ужасен взгляд, шептавший „не
Я слыш уповелительный мне голос хорош“.
„смерьте“.

Просторы? Ужас? Радость? Рок?
Не знаю. Единый звук сомкнул распутье
двух дорог.

Маркиза Дезес.

Ах, оставьте... вы все про былое!
Оставьте! Смотрите, я весела, я
воскликнуть готова „былое долой“, я.
Смотрите лучше: вот жена, облеченная
в солнце и только его,
Полулежа и полугреясь всей мощью
тела своего
Поддерживая глубиной раздвинутого
пальца

Прекрасное полушаріе груди, о взоры,
богомольные скитальцы!
Чтобы сестра рогатую сестру горячим
утолить молоком,
Козу с черными рожками и жестким
языком.

Как сладок и светом пранизанный остер
Миг побратимства двух сестер.
Миг одной из их двух жажды
Сделал мать дочерью, дочь матерью,
родством играя дважды.
Не сетуйте на мой нескладный образ
Но в этом больше смеха, сударь, а я по
прежнему к вам добра-с.
Пожимает, смеясь руку.

Спутник.
Царица, нет — богевна!
Твои движенія сегодня так напевны.
Дезес (смеясь).

Право! вот я не знала!
Но вставайте скорее с колен. Я подарю
вам на память мое покрывало.
Но тише, тише, сядем
Мы все это уладим.

Спутник.

Я знаю, что смерти, кричал мне голос:
Ваш золотой и длинный волос!

Дэзес.

Да. Тише, тише. Слышите, там смеются.
Это — Мейер.

Сядьте сюда. Передайте мне веер.

Рафаель.

Меня звали? Я надеюсь увидеть Вану
Вія и Микель-Анджело?
В толпе движенье. Кто-то. Вы пьяница?
Отчего у вас такой нос? Или
посвежело?

Рафаель.

Я не знаю. Италія
Любит вино, огненно-красное света лія.

Распорядитель к Рафаелю.

А, да, вино! Да, да! пришли!

Слуга, заикаясь.

Рафаель — они изволили, т. е. пришли.

Распорядитель.

То есть как пришли? Ты мелешь братец
чепуху!

Слуга.

Я перед вами как на духу!

Распорядитель.

Но это недоразумение! Может быть вы
не туда звонили!

Или в самом деле Рафаеля имя шутник
присвоил? Или? —

Рафаель (с легким поклоном).

Мне при рождении святыми отцами имя
Рафаеля некогда дано.

Распорядитель.

Убил! Убил! — вино!

(К слуге).

Олух! Олух! ду...

Рафаель.

Я вызвал у вас какой-то переполох,
какую-то беду...

Я не думал... Я думал встретить Микель-
Анджело.

Распорядитель.

Ах, все так вздоржело!

(Пожимая руку Рафаелю).

Ах, я не могу! Я не могу! Здесь путаница
вышла.

Во всем вините, пожалуйста, слугу.
Я убегу. (Убегает).

Слуга.

Ишь куда поворачивает, таковский, дышло...

Зритель.

Да, Санцио, живопись им не нужна.
О они кой в чей другом узнали толк:
Строй пушек, готовых жидким, трезвость
изгоняя, выстрелить огнем, их
хочет полк.

Какого же еще вам надобно рожна?
(Уходит).

Кто-то.

О, Рафаель вино и Рафаель другой —
улыбка ведем.

Ну что-же, в путь обратный — едем.
(Рафаель и незнакомец уходят).

Рыжий поэт.

Я мечте кричу: пари-же
Предлагая чайку Шенье,
Казненному в тот страшный год в Париже,
Когда глаза прочли: чай, кушанье.
Подымаясь по лестнице
К прелестнице

Говорю: пусть теснится
Звезда в реснице.
О Тютчев туч! какой загадке
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Совы тебе моя земля?

Слуга.

Одни поют, одни поют
И все спуют и все спуют
Пока дают живой уют.

(Зрители проходят и уходят. М. Дзес
и Спутник в боковой горнице).

М. Дзес.

То отрок плыл, смеясь черными глазами,
И ветки черныя усов сливались с
звездными лозами.

Я звездный мир, зная над собой, была
права.

И люди были мне березке как болотная
трава.

Но что это? Переживаем-ли мы вновь
таинственный потоп.

Почувствуй, как жизнь отсутствует,
где-то ночуя,

И как кто-то другой воскликнул: так
хочу я!

Люди стоят застыло, в разных ростах,
и улыбаясь.

Но почему улыбка с скромностью
ученицы готова ответить: я из
камня и голубая-с.

Но почему так беспощадно и без
надежды

Упали с вдруг оснегизненных тел
одежды!

Сердце, которому было доступны все
чувства длины,

Вдруг стало ком безумной глины!

Смеясь, урча и гогоча,

Тварь возстает на богача.

Под тенью незримой Пугача

Они рабов зажгли мятеж.

И кто их жертвы? мы те-же люди,
те-ж!

Синія и красно-зеленя куры

Сходят с шляп и клюют изделие
немчуры.

Червонныя заплаты зубов,

Стоящих, как выходцы гробов.
Вон скаля зубы и перегоняя скачет
горностаев снежная чета,
Покинув плечи, и ярко-сини кочета.
Там колосится пышным снопом рожь.
И лица людей передают ей дрожь.
Щегленок вьет гнездо в чьем-то
изумленном рте
И все приблизилось к таинственной
черте.

Лапки ставя вместе, особо-ль,
Там скачет чей-то соболь.
Щегленок-сын булавки!
И все приняло вид могильной лавки!
Там в живой и синій лен
Распались тела кружева.
И взгляд стыдливо просветлен,
Той, которая внизу камень, взором жива.
Все стали камнями какого-то сада
И звери бродят беспечные и беззабот-
ные среди них—какая досада:
В ея глазах и стыд и нега
И ответ бледный от другого берега
Пощадою оставлен легкй ток

Полузаслоня вид нагот.
Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот
Там стонут кратко Дье!
Это налево. А направо люди со всем
пылом отделись веселью.
Не заметив сил страшных навоселья.
Спутник.
Бежим. Бежим отсюда, о госпожа!
М. Дэзес.
Но что это? Ты весь дрожишь? Ты
весь дрожа?
Но спрашивать не буду. Куда-же мы
идем, мой „мой“?
Спутник.
В счастье, в счастье, божество спа-
сающее глаз тьмой!
Мои именія мне принесут земную мощь!
В „вчера“ мы будем знать улыбку тещ.
Но нет! не скучно-ли быть рабом
покорным суток.
Нет, этот путь, как глаз раба, печаль-
ный жуток!

Убийца вещей, я в сердце миру нож
свой всуну!

Божество. Стать Божеством. Завидо-
вать Перуну.

Я новый ужас влагаю в „смерть“.
Повелевая облаками, кидать на землю
белый гром...

Законы природы, зубы вражды ощерьте!
Или несите камни для моих хором.

Собою небо, зори полни я,
Узнать как из руки дрожит и рвется
молния...

Мар. Дзес.

Успокойся, безумец, успокойся!

Спутник.

Сокройся, неутешная, сокройся!
Твоя печаль и ты, но что ты рядом с
роком значишь?

Марк. Дзес.

Но ты весь дрожишь? Ты плачешь?

Спутник.

Так! Я плачу, Чертоги скрылись, вол-
шебные с утра.

Развеяли ветра. Над бездною стою. Не
„ять“ и „е“, а „е“ и „и“!
Не „ять“ и „е“, а „е“ и „и“! Голос
не умолкшей смерти.
Кого — себя! Себя для смерти! Себя
взираваго! о верьте, мне поверьте!

Маркиза Дзес.

Ты мрачен, друг. Бежим, бежим!
Слышишь, как умолкло странно все
вокруг, и в тишине внезапной нарастая,
Бежим сейчас войдут к нам горностаи.
И заструятся змейки узких тел.
О бежим, бежим? Ты не можешь? Ну
тогда я одна бегу!
Я не Дзес. Я русская, я русская по-
верь.
Дай я тебя на прощанье поцелую.
Сейчас! Сейчас. Бегу. Бегу. Бегу.
Еще последний раз. Нет, что сделал
ты со мной? Я не могу!
Что сделал ты со мною бедной?
Я не могу уйти от тебя: покорная
тебе



Спутник.

Бог от „смерти“ и бог от „смертьи“!

М. Дзес.

С твоей руки струится мышь. Перчатка с писком по руке бежит.

Какая резвая и нежная она!

Так! что-то надвигается, Я уже дрожу.
Но подавляю гордо болезненную улыбку уст.

Спутник,

Бежим!

М. Дзес.

Хорошо. Я бегу. Но я не могу:
Жестокій, что ты сделал? Мои ноги
окаменели!

Жестокій! Ты смеешься? Уж не со-
звучье ли ты нашел „Нелли“?

Безжалостный прощай! Больше я уже
не в состояніи подать тебе руки, ни ты
мне. Прощай!

Спутник.

Прощай. На нас надвигается уж-что-
то. Мы прирастаем к полу,

Мы делаемся единое с его камнем.
Но зато звери ожили. Твой соболь под-
нял головку и жадным взором смотрит
на обнаженное плечо. Прощай!

М. Дзес.

Прощай! Как изученно и стройно за-
бегали горностаи!

Спутник.

С твоих волос с печальным криком
сорвалась чайка!

Но что это? Тебе не кажется, что мы
сидим на прекрасном берегу прекрас-
ные и нагие, видя себя чужими и бесе-
дуя? Слышишь?

М. Дзес.

Слышу, Слышу! Да мы разговарива-
ем на берегу ручья. Но я окаменела в
знаке любви и прощанія и теперь, ког-
да с меня спадают последнія одежды, я
не в состояніи сделать необходимаго
движенія.

Спутник.

Увы! Увы! Я поднимаю руку, протянутую к пробегающему гарностаю.

И глаз, обращенный к пролетающей чайке. Но что это? и губы каменеют и пора умолкнуть. Молчим! Молчим!

М. Дзес.

Умолкаю...

Голос из другого мира.

Как прекрасны эти два изваянія. Изображающія страсть, разделенную сердцами и неподвижностью.

Да. Снежная глина безукоризненно передает очертанія их тел,

Ты прав. Идем в курильню.

Идем.

(Идут). Я то-же предложить хотел.

На площади в влагу входящаго угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей
Там мальчик в ужасе
шептал: ей-ей!
Смотри закачались в хмеле
трубы — те!
Бледнели в ужасе заики губы
И взор прикован к высоте.
Что? мальчик бредит на яву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит:
— какие страшные скачки!
Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи
Как на стене тень пальцев ворожей.
Так делаются подвижными дотолё
неподвижныя на болоте выши
Когда опасность миновала.
Среди камышей и озерной киши
Птица растение главою закивала.
Но что-же? скачет вдоль реки в каком-то
вихре
Железный, кисти руки подобный крюк.

*Журавль.
Ор. 3.
(В. Камен-
скому).*

Стоя над волнами, когда оне стихли,
Он походил на подарок на память ко-
стяку рук!

Часть к части, он стремится к вещам
е неведомой еще силой

Так узник на свиданіе стремится на-
встречу милой!

Железные и хитроумные чертоги,
в каком-то яростном пожаре,
Как пламень возникающій из жара,
На место становясь, давали чуду ноги.
Трубы, стоявшіе века,
Летят,

Движеньям подражая червяка игривей
в шалости котят.

Тогда части поездов с надписью „для
некурящих“ и „для служилых“

Остов одели в сплетенныя друг с другом
жилы.

Железные пути срываются с дорог
Движеніем созревших осенью стручков.
И вот и вот плывет по волнам, как порог
Как Неясыть иль грозный Детинец от
берегов отпавшійся Тучков!

О Род Людской! Ты был как мякоть
В которой созрели иныя семена!
Чертя подошвой грозной слякоть
Плывут возстаніем на тя, иныя пле-
мена!

Из желез
И меди над городом возстал, грозя, ко-
стяк
Перед которым человечество и все иное
лишь пустяк,

Не более одной желёз.
Прямо летящія, в изгибе-ль,
Трубы возвещают человечеству погибель.
Трубы незримых духов се! поют:
Змее с смертельным поцелуем была люд-
ская грудь уют.

Злей не был и кощей
Чем будет, может быть, возстаніе вещей.
Зачем-же вещи мы балуем?
Вспенив поверхность вод
Плывет наперекорь волне железно строи-
ный плот.

Сзади его раскрылась бездна чорна,
Разверсся в осень плод

И обнажились, выпав, зерна.
Угловая башня, не оставив глашатая
полдня — длинную пушку,
Птицы образует душку.
На ней в белой рубашке дитя
Сидит безумнее, летя. И прижимает к
груди подушку.

Крюк лазает по остову
С проворством какаду.
И вот рабочий, над Лосьим островом,
Кричит безумный „упаду“.
Жукообразныя повозки,
Которых замысел по волнам молний сил
гребет,
В красныя и желтыя раскрашенныя по-
лоски,

Птице дают становой хребет.
На крыше небоскребов
Колыхались травы устремленных рук.
Некоторые из них были отягощеніем чу-
довища зоба

В дожде летящих в небе дуг.
Летят как листья в непогоду
Трубы сохраняя дым и числа года.

Мост который гиратическим стихом
Висел над шумным городом,
Обяв простор в свои кова,
Замкнув два влаги рукава,
Вот медленно трогается в путь
С медленной походкой вельможи, кото-
раго обшита золотом грудь,
Подражая движению льдины,
И им образована птицы грудина.
И им точно правит какой-то кочегар,
И может быть то был спасшийся из воды
в рубахе красной и лаптях волгарь,
С облипшими ко лбу волосами
И с богомольными вдоль щек из глаз
росами.

И образует птицы кисть
Крюк, остаток от того времени, когда
четверолапым зверем только ведал
жисть.

И вдруг бешеный ход дал крюку воз-
ница,

Точно когда кочегар геростратическим
желанием вызвать крушение поезда
соблазнится.

Много — сколько мелких глаз в глазе
стрекозы — оконные

Дома образуют род ужасной селезенки.
Зеленно грязный цвет ея исконный.

И где-то внутри их просыпаясь дитя
оттирает глазенки.

Мотри! Мотри! дитя,

Глаза, протри!

У чудовища ног есть волос буйнее меха
козы.

Чугунные решетки — листья в месяц
осени,

Покидая место, чудовища меху дают ось
они.

Железные пути, в диком росте,

Чудовища ногам дают легкия трубчато-
образныя кости.

Сплетаясь змеями в крутой плетень,

И длинную на город роняют тень.

Полеты труб были так беспощадно явки

Покрытыя точками точно пиявки,

Как новобранцы к месту явки

Летели труб изогнутых пиявки,

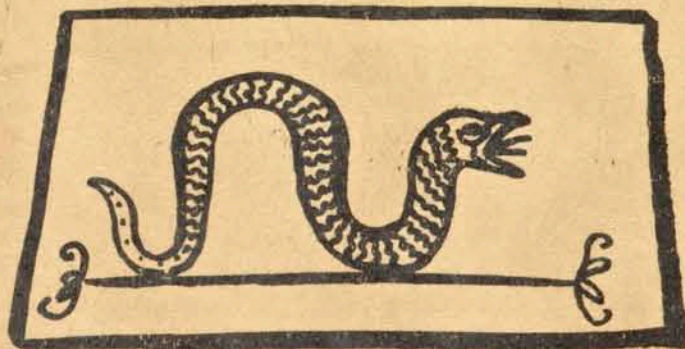
Так шея созидалась из многочисленных
труб.

И вот в союз с вещами летит поспешно
труп.

Строгія и сумрачныя дэвы
Летят, влача одежды, длинныя как ветра
сил напевы.

Какая то птица шагая по небу ногами
могильнаго холма

С восьмиконечными крестами
Раскрыла далекий клюв
И половинками его замкнула свет
И в свете том яснеют толпы мертвецов
В союз спещация вступить с вещами.



SPECIAL

88-B

28424

v.1

GETTY CENTER LIBRARY

